

С.С. Хоружий

БЛЕСК И НИЩЕТА ВНУТРЕННЕЙ ЭМИГРАЦИИ¹

Mais où sont les neiges d'antan?

Катаклизмы естественной истории приводят к образованию островков, изолированных областей, где сохраняются остатки экосистем, сметенных этими катаклизмами. Часто такие реликты исчезнувших миров слишком малы для нормальных процессов эволюции, видообразования – и они застывают в развитии, перманентно себя воспроизводя такими, каковы они были в миг катастрофы. Так до нас доходят древние виды – утконос, ехидна... кистеперая рыба целакант... То же происходит в неестественной, человеческой истории. Здесь тоже пронесшиеся катаклизмы, промчавшиеся локомотивы истории нередко оставляют после себя изолированные или скорее, самоизолирующиеся островки, законсервированные малые сообщества, все существование которых – лишь перманентное воспроизводство допотопной жизни, той жизни, какою она была на миг потопа, ставший для них мигом конца истории. Созданию таких островов среди изменившегося социума – среди моря житейского, воздвигаемого зря, — могут служить миграция, эмиграция, внутренняя эмиграция. Так, в американских штатах Среднего Запада есть поселения-колонии, вся жизнь которых, как фантастический съемочный павильон, — точнейшее воспроизведение жизни общин немцев-меннонитов 17. века. Идентичное сохранение подобных стоп-кадров в течение десятилетий, столетий – странная и очень нелегкая задача. Исполнить ее можно, лишь истово подчинив ей всё, все измерения существования человека – ценности и установки, религиозные и этические запреты, кодексы и паттерны поведения... Первою заповедью здесь, очевидно, выступает установка несмешиванья с новым, чуждым, послепотопным миром, установка хранения своей инаковости, отгороженности, отдельности – иначе сказать, своеобразная *заповедь чистоты*. Чистота – высшая ценность такого мирка, пафос, лейтмотив, знамя такого способа существования. Взгляните, как ярко и выразительно, с какой цельностью отлился этот пафос чистоты у строгих беспоповцев, в крайних согласиях и толках старообрядчества! И на другом полюсе – сколь бесконечно трудней было сохранить чистоту и сколь сомнительных успехов добивалось ее сохранение в реликтах большевистского потопа, очажках подсоветской внутренней эмиграции.

Так трудно было уже понять, различить, в чем она, чистота, какие она диктует границы. У старообрядцев не было подобной проблемы. Но после Октября – или, во всяком случае, уже к десятилетию Октября, с памятной декларацией «ваши радости – наши радости», — проблема явилась даже и для строго церковных людей. А уж просто «культурный слой»! От Михаила

¹ Рецензия на книгу А.А. Баранович-Поливановой «Оглядываясь назад». Томск: «Водолей». 2001. Воспоминания Анастасии Александровны Баранович-Поливановой посвящены памяти ее матери, Марины Казимировны Баранович, друга Б.Л.Пастернака, печатавшей рукопись романа «Доктор Живаго».

Константиновича Поливанова, мужа мемуаристки, я услышал словцо «ранис» – с разъяснением, что сей советской аббревиатурой – «работники науки и искусства» — хранившие Чистоту саркастически обозначали утративших Чистоту, перековавшихся. Анастасия Александровна, автор мемуаров, в своей книге приводит и другое аналогичное словцо, «оплот», пущенное Пастернаком. Рассказчица, как и ее мать, Марина Казимировна Баранович (вторая – или даже первая – героиня книги, чей образ всегда рядом с автором) не были из самых непримиримых пуристов: у них «даже близкие друзья, за редчайшими исключениями, были советские»; но общий принцип маркировки людей, несомненно, присутствовал. Однако самый существенный вопрос дальше: каковы же были критерии? кто и по каким признакам маркировался как «свой», как сообитатель острова? И задавшись этим вопросом, мы видим, что внутренняя эмиграция явно не была всего одним островом в советском море; скорей, это был архипелаг, еще один. В разных кругах действовали разные критерии Чистоты. Одни острова возникали по религиозным признакам, другие – по политическим, по степени неприятия режима, третьи, наконец – по культурным: для их обитателей в отделении от советского моря важно было не только отделение от тоталитарного бесчеловечия, но еще и противостояние мировой культуры агрессивному тупому невежеству. Про жизнь именно этого островка, где обитали эмигрировавшие в культуру, и ведется рассказ.

В описанной ситуации сфера культуры, жизнь в культуре обретают особый смысл и особую роль, так сказать, «онтологическую», бытийную. Феномен внутренней эмиграции фундаментальней, нежели простой эскейпизм, отталкивание и отделение от обстоящего социума здесь куда резче, глубже, и то, что для него нужно, это не обыкновенная «отдушина», какой может стать и игра в бирюльки, а много большее – доподлинный, полноценный Иной Мир. Культура должна – чаемо! — доставить, а точнее составить собой его живую материю и плоть, и неизбежно она становится здесь предметом трепетного, почти религиозного отношения. Такое отношение легко принимает форму культа, особенно в случаях, когда культура не является одновременно и ремеслом, полем собственного творчества. Сегодня это уже почти ушло, и трудно представить это племя, дамское, большей частью, — племя людей, что не делали культуру, но безраздельно были и жили в ней, испытывая любовь с ограниченной взаимностью, но совершенно безмерной преданностью. Хотя, быть может, еще трудней оценить, насколько они были необходимы, эти щепочки в очаге культуры, как помогали они тому, чтобы огонь в этом очаге не гас, чтобы он был теплым и человеческим. Как в античной модели бытия-космоса сфера идеального бытия окружена оболочками меньшей, спадающей полноты бытия, так в космосе культуры сфера творчества должна быть окружена оболочкою культурной среды, она требует читателя-советчика-врача или хоть разговора на лестнице... И Культурный Остров, оставшийся не от чего-нибудь, а от великого Серебряного Века России, обладал, особенно поначалу, самой богатой культурной и околокультурной средой. Она была разнообразна и структурирована, там были свои кружки и слои, и признавая, что большую ее часть составляло «дамское племя», а в нем – стайки поклонниц и обожательниц, мы тут же обязаны дополнить, что кроме них еще были и углубленные собеседницы, возвышенные вдохновительницы... Насельницами Острова были Маргарита Морозова, Евгения Герцык, и сегодня мы знаем, что

где-то недалеко от этих имен может стоять и имя их младшей современницы Марины Казимировны Баранович. Чтобы полностью убедиться в этом, достаточно положить рядом с записками дочери также вышедшую недавно «Переписку Б.Пастернака с М.Баранович» (М., изд-во МИК, 1998). Что общего могло быть в отношениях Марины Казимировны с великим поэтом – и с юношей-физиком, что иногда появлялся в ее доме? Однако такие души не делили своего отношения на ранги; и сегодня, через тьму лет, я с благодарностью повторяю как свое, из своего опыта: «От Вашей внутренней стройности исходит успокоение» (Б.Пастернак – М.Баранович. Письмо от 18.09.1956).

Если же вернуться к острову в целом, к его основному слою, то нельзя будет не отметить в нем явную параллель с церковной сферой, где женщины, не будучи допущены править культ, с тем большим пылом предаются ему, образуя племя «церковных женщин», истовых прихожанок и молитвенниц. Духовно-душевные структуры тех дам, кто обретал высокий восторг на службах владыки А., и тех, кого высокий восторг посещал на концертах дирижера Б., без сомнения, весьма сходны. – Однако параллель имеет свои пределы. Мир христианского культа в своей подлинности, состоятельности обеспечен всеми активами христианства, мировой религии. Но если в качестве подлинной, полноценной альтернативной реальности хотели бы, как на иных островах архипелага внутренней эмиграции, утвердить некий культурный мир – пригодность его к этой роли требует всякий раз конкретной проверки.

Большая часть книги – именно то, что на языке философии называется «конституция культурного мира»: путем описаний, впечатлений, оценок некий мир, некий остров выделяется из общего культурного ландшафта эпохи, постепенно очерчиваясь и выстраиваясь. Оценки, как позитивные, так и негативные, всегда отчетливы, а порою и резки, автор изъясняется с подкупающею открытостью и прямоотой, отнюдь не уходя в «аллегории и еквиоки». Поэтому перед нами открытый и ясный мир. Там есть Главные Боги, Солженицын и Пастернак, там высоко чтится Макс Волошин (скорее в силу истории и географии, по давней дружественной связи с коктебельским очагом), там, далее, не может не пребывать сакраментальный квартет, который дети в семействе Поливановых – и, верно, в других семействах с того же острова – обозначали фамильярно МАПЦ; но помимо квартета, в поэтическом измерении обитают и еще многие, вплоть даже до Коржавина и Яшина; и наконец, там течет насыщенная жизнь и во всех прочих измерениях. Круг автора – плоть от плоти московской культурной среды еще добольшевистских времен; нити родственные и семейные связывают его и с миром поэзии, и театра, и балета... И уже не кругу и не обстоятельствам, а самой личности автора принадлежат проникающие страницы книги живость и жадность к событию искусства, острота культурного чувства и художественного переживания.

Светлый мир, общими чертами так всем знакомый. Вполне неуместно и абсурдно подходить к нему с критикой и анализом – перед нами не концепции, не теоретические тезисы, а вкусы и мнения, пространство индивидуальности. Однако записки Анастасии Александровны, как мы уж видели, рождают и более общие раздумья. Мы начали разговор о внутренней эмиграции как

некоем архипелаге среди советского моря и о «культурном острове» этого архипелага. И в данной связи нам важно на конкретном примере понять, насколько же прочные, насколько основательные принципы служили устоями и отмечали границы острова. Взгляд под этим углом открывает поучительную картину. Как мы обнаруживаем, шла эволюция, и в интересующем нас аспекте, мир детских глав записок, Мир Матери, заметно и существенно отличается от мира глав взрослых, от Мира Дочери. Вначале, в двадцатые-тридцатые годы (впрочем, в двадцатые тоже гораздо более чем в тридцатые), Чистота имела отчетливые критерии и ее блюдение заведомо не было субъективной иллюзией. Иные нормы, иные устои еще были действенны в сознании и культурного, и научного сообщества, воплощались в живых носителях – и «культурный остров» внутренней эмиграции стоял осязаемым и цельным (хотя одновременно и невидимым, как град Китеж). В середине тридцатых в Париже были анонимно опубликованы «Письма старому другу», присланные из СССР. Эти замечательные письма, принадлежавшие Евгении Герцык, дают полное доказательство существования острова. В них – яркий документ самосознания островитян, если угодно, их манифест.

Но постепенно остров разрушался. Процесс был двояким: убывали и четкость отличий, и энергия противостояния, отстаивания этих отличий. На страницах записок мы видим, как отличия культурных кодексов и позиций чем дальше, тем больше переходят в область необязательного, субъективного, вкусового. Усвоенные установки Серебряного Века со временем неизбежно приобретали налет архаики, но жизнь Острова жестоко ограничивала возможности их развития. Говоря о сороковых-пятидесятых годах, автор по-прежнему стремится блюсти границу, отмежеваться от «раниса» и «оплота», от массовой советской публики: «Примитивные читатели ... обсуждали героев, их поступки, находили сходство у своих знакомых и друзей с характерами и судьбами персонажей, кого-то любили, кого-то нет» (с.153). Однако легко заметить, что это же наивное отношение к тексту – по крайней мере, к любимым, культовым текстам – бытовало и у самих рафинированных «островитян». Когда в конце сороковых Москву охватило увлечение Голсуорси (!), автор не обнаруживает больших отличий от масс, находя странными замечания знакомого филолога об уместности иного, не столь прямолинейного подхода к тексту. Преодолевали такой подход скорее формалисты (политически сомнительные как для Острова, так и для властей), островитяне же в полной мере демонстрируют его и позднее, когда в их среде складывается культ «Доктора Живаго». Или другой пример (о тех же сороковых): «один театровед сказал, что в МХАТ ходила интеллигенция. Это неверно. Интеллигенция не ходила во МХАТ ... Интеллигенция ходила к Образцову»(с.119). Можно ли уловить здесь сколько-нибудь глубокий, принципиальный рубеж? Противостояние сохраняет четкость и резкость в идеологии, в нравственных установках, однако вехи противостояния культурного – а с ними и цельность очертаний острова – мало-помалу утрачиваются... И незаметно вкрадывается смена мотивов. Позиция противостояния, четкого заявления своего несогласия – весьма в характере рассказчицы, и этот мотив остается в книге всегда; но при этом противостояние советскому переходит постепенно в неприятие – попросту каких-либо

новшеств, или фигур, или черт современной культуры (что, впрочем, замечает о себе и сам автор).

Итак, остров размывался. Но логика рассуждения влечет нас дальше, к еще более общим выводам. Уже беглый взгляд скажет нам, что размывался и весь архипелаг: судьба других островов была сходной. Разумеется, *mutatis mutandis*: для них решающую роль скорее играло нравственное размывание. Однако урок истории един: ни культурная, ни политическая, ни церковная внутренняя эмиграция не смогли быть, не стали живущими организмами, альтернативными творческими субкультурами в советском социуме: они не сумели ни удержать старых альтернативных ценностей, ни создать новых. Такой вывод еще не означает их осуждения, ведь без дальнейшего анализа нельзя сказать, имелся ли вообще у них шанс иной судьбы (и первая мысль – что шанса, верно, и не было, в силу самой сути тоталитаризма). И уж во всяком случае, они помогали сохранять честь и достоинство, доставляли воздух для дыхания сотням российских людей – или тысячам? — кто сочтет? имена же их Ты, Господи, веши... Дело не в осуждении, а совсем в другом: в углублении исторического зрения. Пора пойти дальше тривиальной констатации того, что постсоветский период с его язвами – «плод разложения советского строя». Необходимо понять, что в истоках, в генезисе этого периода – специфическая **конвергенция деградации**: процесс разложения не только советского (режима, его идей, институтов), но и антисоветского (того, что режиму противостояло). В конечном счете, в судьбе советской России – в отличие от России имперской! — возобладало единство, и в лоне старого социального организма не вышло значимых, жизнеспособных альтернативных сил – хоть в этом и пыталось разуверять наше расхристанное, нестойкое и достаточно беспринципное диссидентство. (Единичные исключения из этих свойств, увы, лишь подтверждают правоту общей характеристики). Нельзя считать подлинной альтернативой и полноценным продолжением внутренней эмиграции такие позднесоветские явления как диссидентство и нонконформистское искусство: изначально впитав в себя множество советских черт, они были уже не столько Островами Чистоты, сколько именно – продуктами двоякого разложения, в ходе которого сближались и смешивались некогда чистые и несоединимые стихии. Рождались невиданные гибриды – советские православные, советские антисоветчики... И когда смешение и разложение достигли гниения – настал гран-бобок ельцинской России.

Мы далеко уклонились от записок Анастасии Александровны – ибо еще дальше ушла от мира этих записок сегодняшняя Россия. Там – заповедь чистоты, здесь – апофеоз грязи. Но среди этой грязи, захлестнувшей, кажется, все стихии существования, — политику, культуру, искусство, нормы общения людей – тем нужнее, живительнее присутствие чистоты, хотя бы легким дыханием... Чистота этого мира не догматична, а органична, хрупка, женственна. Хранение чистоты – по преимуществу, женский дар, женская миссия и харизма, символически воплощаемая в образе Девы. И нет ничего удивительного, что в мире под созвездием Девы – в полную противоположность нравам и текстам эпохи грязи – почти не приоткрывается

завеса над личной жизнью автора, и только лишь легкой тенью проходит по страницам фигура «мужа», «Миши» – Михаила Константиновича Поливанова.

Для меня и для многих эта фигура незабываема. Физик-теоретик со всемирной известностью, человек универсальной культуры, редчайшего такта и обаяния, он обладал, казалось, неограниченной участливостью, способностью услышать и понять, ободрить и подсказать выход – и сразу приобретал столь же неограниченное доверие всех: был незаменимой третьей стороной в самых разнообразных спорах, авторитетным экспертом решительно в любых проблемах, от тонкостей этикета до глобальных решений о развитии российской науки.

... Вспоминаю первую встречу с ним. Мне было под двадцать, ему – под тридцать; молодой, но уже известный, заметный член Боголюбовской школы в квантовой теории, он пришел к нам, студентам, выбирающим специализацию в науке, рассказать о своей школе, о ее направлении. Это было как сцена из кино, как встреча с пришельцем из космоса: посреди вихрастых пареньков в ковбойках и протертых штанах, бедного и небрежного затрапеза физиков доджинсовой эры, он – стройный и высокий, в голубом отлично сидящем костюме с бабочкой, безумно красиво рассказывал нам, как делается квантовая теория поля, самая новая и самая захватывающая наука, – и «посреди приемной советской» уже сами его интонации и синтаксис были чем-то неслыханным. Довольно вскоре мы стали близки – и в научных занятиях, и за их пределами. Но только – отравленное ли время было тому виной, или иное что – близость давала трещины. Ему приоткрылось мое подполье – было оно тогда (поспешил я уточнить), мне – его слабости. Он не отшатнулся, но я, увы, сделал выводы скорые и категоричные. Я был юноша, задержавшийся подросток, а «детское осуждение онтологично», и минувшее безвозвратно, и глазами бессмысленно хлопать, когда – *Vienne la nuit, sonne l'heure*. Строчки французских стихов роятся, звучат в мозгу, когда я думаю о нем, и я сейчас понял – почему. Стояла весна, и яркое солнце в пыльной комнатке теоротдела Стекловки, еще старого здания, когда я вошел туда сдавать Боголюбовский экзамен по квантовой электродинамике или гравитации, держа в руках, как всегда таскал, оранжевый томик «De Proust à Dada». Андре Жермен, стильный и голубой, дилетант-меценат-большевизан...

— А можно взглянуть на Вашу книжечку? — раздалось из-за стола экзаменаторов.

— Это по-французски... – пробормотал я испуганно-извиняющимся тоном.

— Ничего, — ответил Михаил Константинович, еле заметно улыбнувшись.